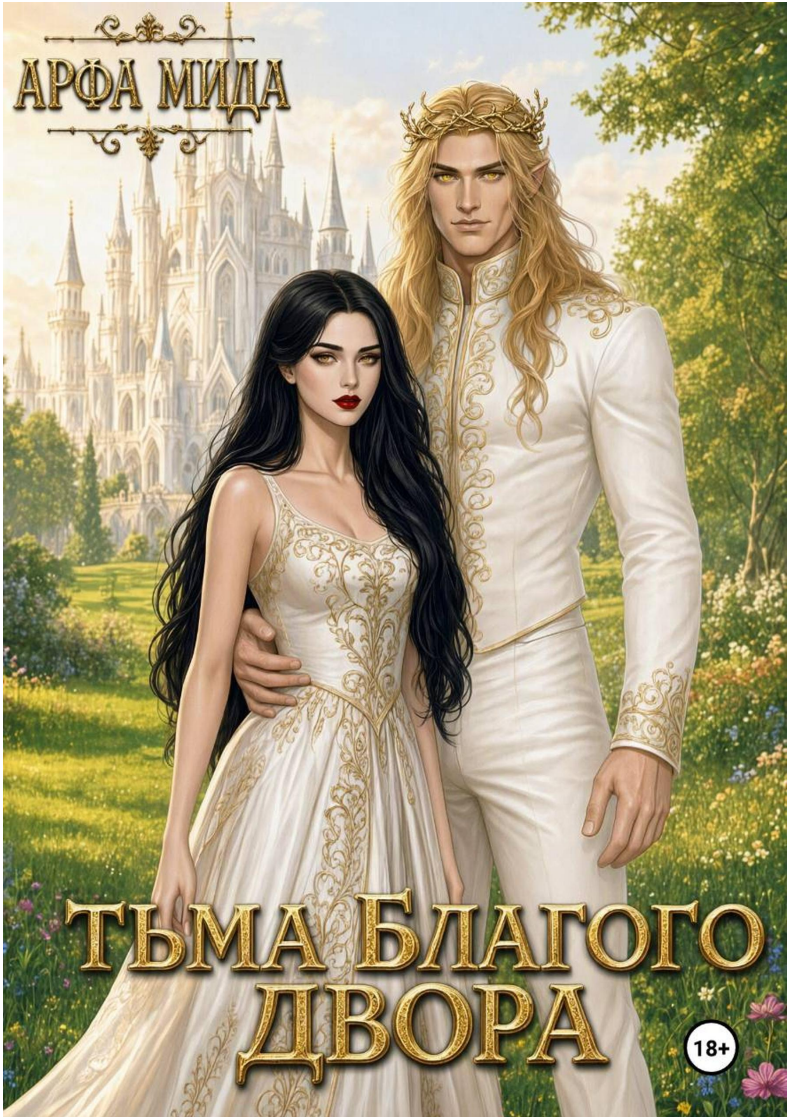

АРФА МИДА
ТЬМА БЛАГОГО ДВОРА
18+

# Арфа Мида
# Тьма Благого Двора

*https://litres.ru/75057689*
*SelfPub; 2026*

## Аннотация

В ночь на первое мая у Карины забирают новорождённого сына. Не люди — трое в белом с золотом, и след ведёт в Благой Двор, где фейри живут в вечном лете, а весь мир держится на одной книге: записан — значит есть, вычеркнут — значит нет.

Карину вписывают в эту книгу как должницу. Теперь у неё есть строка — и нет свободы, а долг нельзя снять, его можно только перевести на другого. На того, кто согласится заплатить.

Повелитель Двора, Дориан, не собирался спасать смертную: он пятьсот лет правил, не выходя из дворца, и привык, что всё имеет цену. Она не собиралась просить — она пришла требовать. И чем ближе они друг к другу, тем яснее становится, что украденный ребёнок нужен не как заложник, а как плата за чужое возвращение.

Чтобы вернуть сына, Карине придётся узнать, сколько стоит строка в чужой книге и что остаётся от человека, когда у него забирают имя.

# Содержание


| | |
|---|---|
| Пустая кроватка | 5 |
| Тёмная | 22 |
| Свидетель | 40 |
| Всё за неделю | 63 |
| Кто знает | 85 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 86 |

# Арфа Мида
# Тьма Благого Двора

**Тьма Благого Двора**

# Пустая кроватка

Я слышу капельницу раньше, чем открываю глаза.

Кап, кап, кап. Ровно, как метроном, и в этом звуке ещё нет ничего страшного. Страшное приходит потом, когда я понимаю, что лежу не так, как лежала до наркоза, и что в палате кто-то есть.

Горло сухое. Язык лежит во рту, как чужая тряпка. Живот тянет, и под повязкой всё горит и дёргает, будто там что-то забыли.

Я пробую вспомнить, как меня резали, и не могу. Помню коридор, потолок, который шёл надо мной полосами, и чей-то голос, считавший вслух: раз, два, три. Я считала вместе с ним и сбилась.

Потом помню только холод.

Холод и сейчас здесь. Не тот холод, что был до операции, не роддомовский, казённый, от сквозняка по ногам: этот идёт сбоку и такой густой, что у меня немеет щека. Я поворачиваю голову туда, и в глазах ещё мутно, всё плывёт, но я вижу.

У кроватки стоят трое.

Высокие. Выше, чем бывают люди, и в белом, таком белом, что в палате от него светло. Не халаты: что-то длинное, без единой складки, с золотом по краю. Я сначала думаю, что это врачи. Потом смотрю на лица и понимаю, что врачи

так не выглядят.

Лица у них гладкие. Ни морщины, ни родинки, ни усталости, ни этой серости, с какой люди выходят из ночной смены. Одна из женщин поворачивает голову, и я вижу её уши: длинные, острые, с розовой каймой по краю.

А мужчина, тот, что стоит ко мне спиной, держит на руках свёрток.

Одеяло, угол, торчит край пелёнки. Свёрток маленький, и держит он его не так, как держат вещь: ладонь под затылком, вторая под спиной, и голова свёртка лежит у него на сгибе локтя.

— Не надо, — говорю я.

Из горла выходит хрип, но они слышат.

Женщина оборачивается ко мне и наклоняет голову чуть-чуть вбок. В её глазах нет ни зрачка, ни радужки. Сплошное серое, как река под снегом.

— Тише, — говорит она, и голос у неё мягкий, как у человека, который никуда не торопится. — Спи.

И мне становится тепло.

Тепло идёт от её голоса, от плеч, от лица, растекается по мне, как молоко по столу, и глаза у меня закрываются сами. Я борюсь, я тяну их открыть, а веки тяжёлые, и я вижу, как свёрток качается в такт шагам, и как мужчина поворачивается к двери, и как за его спиной женщина в белом поднимает руку, и...

* * *

Я просыпаюсь от боли.

Боль настоящая, тупая, внизу живота, и от неё всё встаёт на место: палата, капельница, кнопка вызова у руки. Свет за окном серый. За стеклом мокрая ветка, на ней набухли почки, а листа ещё нет: первое мая, а весна не началась. Стены, шкаф, стул с моей сумкой, календарь на две тысячи двадцать седьмой — первое мая ещё не оторвано. Кроватка.

Кроватка пустая.

Я смотрю на неё и не понимаю. Долго смотрю, наверное, целую минуту. Потом нажимаю кнопку.

Медсестра приходит быстро, молодая, с усталым лицом.

— Ну как вы? — говорит она, поправляя одеяло.

— Где ребёнок?

Она останавливается.

— В детском. — Голос у неё теперь спокойнее. — Там дети, вы же знаете, у нас так положено.

— Мне его не приносили.

— Принесут. — Она смотрит на часы. — Через час кормление, вот и принесут.

Я киваю. Я даже верю. Ритуал, часы, кормление по расписанию, всё как надо, и через час мне принесут.

Через час не приносят.

Я жму кнопку снова, и снова, и потом сажусь на кровати, потому что лежать больше не могу. Напротив, у стены, стоит шкаф, и в его дверце зеркало — узкое, во весь рост, с потёками по краю.

Я вижу себя.

Волосы слиплись и тяжёлые, тёмные, почти чёрные. Кожа белая, как бумага, вены на запястье видны насквозь: я всегда была такой, а здесь я смотрю на себя, как на чужую. Лицо в зеркале не моё: карие глаза кажутся больше, чем есть, губы припухли и горят, как искусанные, а само лицо круглое, детское, фарфоровое, как у куклы. Мне девятнадцать, и меня до сих пор спрашивают паспорт, когда я покупаю вино.

На третий раз в палату входит не медсестра.

Женщина в халате, лет шестидесяти пяти. Седая, стриженая коротко, в очках с толстыми стёклами, с папкой под мышкой. Она прикрывает за собой дверь и садится на стул рядом с кроватью, не спрашивая, можно ли.

— Карина Александровна, — говорит она. — Меня зовут Вера Павловна, я здесь заведую. Вы меня помните? Я была на операции.

Я помню только голос, считавший раз, два, три. Но киваю: сейчас не до того.

— Где мой сын?

Она кладёт папку на колени и смотрит на меня поверх очков.

— Его в роддоме нет, — говорит она. — Я сразу скажу, чтобы вы не тратили на это время.

— Вызовите полицию.

— Вызовете. — Она не спорит. — Приедет участковый, поговорит со мной, посмотрит бумаги.

— И что он там увидит?

— То, что там написано: роды, ребёнок, время. И ни строчки о том, кто его забрал.

— Почему?

— Потому что я этого не напишу. — Она снимает очки и держит их в руке, и я вижу, какие у неё красные веки. — Мне шестьдесят пять, я здесь заведую, и уходить мне некуда. Если напишу, меня уволят до утра.

— Вам некуда, — говорю я. — А мне?

— А вам обследование. — Она произносит это без нажима. — Напишут то, что пишут всегда: послеродовой психоз, острый бред.

— Вы не имеете права.

— Не имею. — Она кивает. — И всё равно не напишу. Я подпишу правду: роды, ребёнок, время. Дело заведут, поищут и через месяц закроют, потому что искать им негде и некого.

— Пусть закроют.

— А потом вас привезут ко мне же на осмотр. — Она смотрит на меня в упор. — И я напишу то, что обязана написать, когда мать рассказывает про троих в белом. Понимаете, Карина Александровна? Правда вам тоже не поможет. Она у вас одна, а их целый Двор.

Я смотрю на неё, и мне хочется закричать, и крик уже поднимается, но она говорит следующее, и я останавливаюсь.

— Карина Александровна. Когда вы очнулись, вы видели

троих.

У меня стынет во рту.

— Вы были в наркозе, — говорит она, — но вы видели. Высокие, в белом, с золотом. Уши.

— Откуда вы...

— Я их тоже видела, — говорит Вера Павловна. — Я стояла в дверях и держала дверь, чтобы никто не вошёл.

Она говорит это спокойно, как говорят «я выпила кофе», и от этого спокойствия у меня в груди что-то обрывается и падает вниз.

— Вы их впустили?

— Их не впускают. — Она качает головой. — Их пускают внутрь себя, вот что. Один раз, когда очень хочется, и потом всю жизнь расплачиваешься.

— Я ничего не хотела.

— Вы лежали под наркозом. — Она говорит это мягче. — Вам просто не повезло оказаться в той палате.

— Почему в эту ночь?

— Потому что это их ночь. — Вера Павловна смотрит на часы на стене. — В году две ночи, когда у них открыто. Последняя ночь октября — та не наша, та для тех, что похуже, и в неё лучше сидеть дома и не звать никого.

— А вторая?

— Ночь на первое мая. — Она переводит глаза на меня. — Первого мая холмы открываются, и они выходят: по своим делам, по чужим, за тем, чего им не хватает. В эту ночь они

и берут.

— Какое сегодня?

— Первое. — Она поправляет очки. — Вы родили вчера в половине двенадцатого, за полчаса до того, как всё открылось. Такое не случайно, Карина Александровна: они чувствуют, где в эту ночь тонко. А где тоньше, чем на переходе одной жизни в другую?

— Кто они?

— Благие. — Она надевает очки обратно. — Фейри. Благой Двор: они не любят, когда их так называют, они говорят «волшебный народ». Всегда в белом с золотом, всегда красивые, всегда по правилам.

— Фейри не бывает.

— И ребёнка у вас не забрали. — Она смотрит мне в глаза. — Так получается?

Я молчу.

— Я здесь тридцать восемь лет, — говорит она. — Такое я видела четыре раза.

— Четыре.

— Первый в восемьдесят девятом, когда сама была молодой. Забрали мальчика у девушки из шестой палаты. — Она смотрит на сложенный лист у меня на простыне. — Потом в две тысячи четвёртом, потом в тринадцатом, и вот теперь вы. Каждый раз одно и то же: кроватка пустая, бумажка на простыне, а на обходе все молчат.

— И никто ничего не сделал?

— Сделали. — Она подаётся вперёд. — Девушка из шестой пошла в милицию. Ей сказали: послеродовое.

— И?

— Она ходила три месяца и писала. — Вера Павловна говорит тише. — Потом её положили в пятую больницу, в отделение. Через год она не помнила, что рожала. Совсем. Показывала фотографии и говорила, что это чужие дети.

В палате становится очень тихо. В коридоре гремит тележка, и звук идёт как через воду.

— А в тринадцатом? — спрашиваю я.

— В тринадцатом я не молчала. — Вера Павловна садится прямее. — Я позвала сама. Вернули.

— Как?

— Их главный, — говорит она. — У них есть Повелитель, он над всеми в Благом Дворе. Дориан. У них на это договор: взял без согласия — отвечай по праву.

— И вы ему сказали.

— Я сказала: верни. — Она смотрит на меня. — И он вернул, потому что у них нельзя не ответить, когда требуют по праву и вслух.

Я смотрю на неё и понимаю, что верю. Не потому, что она убедительно говорит, а потому, что я видела свёрток у него на руках, и потому, что она не стала бы врать так, чтобы выглядеть сумасшедшей.

— Как мне к нему попасть?

— У них нет адреса. — Она качает головой. — Есть имя.

Скажите его три раза — про себя, не вслух, — и скажите, что пришли сами и по праву. Он услышит.

— И вы его звали? — спрашиваю я.

— Так я его и позвала. — Она кивает. — Сказала в ординаторской, трижды, и он пришёл туда сам. Через минуту.

— И всё?

— И всё. — Она встаёт и берёт папку. — Только запомните, Карина Александровна: у них ничего не есть. И не благодарить. Скажете «спасибо» — станете должницей, а с должников они берут своё. И своё имя называйте только тогда, когда иначе нельзя.

Она доходит до двери и оборачивается.

— И ещё. Когда он придёт, не просите. Требуйте. Просить у них бесполезно: просьба — это когда ты согласен, что тебе могут отказать.

Дверь закрывается. Я остаюсь одна.

За окном всё то же серое. На простыне лежит сложенный пополам лист, и на нём, если развернуть, будет чужой рост и чужой вес.

Я подтягиваюсь выше, держась за шов, и складываю руки на одеяле.

Дориан. Дориан. Дориан.

Я говорю это про себя, трижды, и на третий раз в палате гаснет свет.

Не так, как гаснет лампа: с щелчком и сразу. Свет уходит, как вода из ванны, медленно и разом, и вместе с ним уходят

звуки: тележка в коридоре, гул лифта, чей-то кашель за стеной. Остаётся моё дыхание, шов и холод.

Я жду, что сейчас щёлкнет и загорится снова, или войдёт медсестра с фонариком, или я просто проснусь. За последние сутки я просыпалась дважды и оба раза видела то, чего нет. Я не пугаюсь сразу: я думаю, ну вот, теперь ещё и это. Наркоз, кровопотеря, послеродовое. Вера Павловна мне только что объяснила, что напишут в бумагах.

А потом становится светло.

Свет не от лампы. Он ровный, белый, и он не бьёт в глаза, хотя должен был бы: такой свет бывает во сне, когда знаешь, что спишь, и всё равно жмуришься. В нём видно каждую складку на одеяле, каждую ворсинку на полу, и ни одной тени.

И вот тут приходит страх.

Он не как в кино, когда кричат. Он как вода в подвале: сначала по щиколотку, потом по колено, и ты уже не идёшь, а стоишь и думаешь, куда деть руки.

Я тянусь к кнопке вызова и не нахожу её. Пальцы идут по краю кровати, по простыне, по воздуху, кнопки нет. Она лежит на месте, в пяди от моей руки, я вижу её краем глаза, и рука до неё не дотягивается, потому что я боюсь пошевелиться.

У окна стоит мужчина.

Высокий. Светловолосый, длинные волосы распущены по плечам и в этом свете отдают золотом. Камзол поверх белой

рубашки, белые брюки, золотая нить по краю, сапоги тёмной рыжей кожи, без единой пылинки, хотя пол в палате не мыли с вечера. Лицо молодое и не молодое сразу, такие же гладкие лица были у кроватки.

Глаза жёлтые. Не карие, не зелёные: жёлтые, как старое золото, и зрачок в них узкий, как у кошки, которой светло и которая всё равно видит.

А уши длинные и острые, и он их не прячет.

Он не спешит. Стоит и смотрит на меня, и в его лице нет ни любопытства, ни брезгливости. Так смотрят на строчку, которую нужно прочитать.

Потом делает шаг, другой и идёт вдоль стены, не глядя под ноги. Сапоги по полу не стучат. У шкафа он останавливается, поворачивает голову к зеркалу — и я вижу, что в зеркале его нет.

Там отражается палата: кровать, капельница, я, бледная, с прижатой к животу рукой. И пустое место у окна.

Он замечает, что я смотрю, и отходит от зеркала.

Потом он смотрит на мои волосы.

Я знаю, что у меня слиплось на висках, и знаю, куда он смотрит. Белое здесь всё: халаты, стены, свет, он сам. А я в этом белом — единственное тёмное пятно.

Он смотрит на них дольше, чем нужно. Потом отводит глаза, и в его лице опять ничего нельзя прочитать, но я успеваю заметить, что секунду назад там было что-то другое.

— Карина Александровна, — говорит он.

Голос спокойный и вежливый. Ни угрозы, ни тепла.

— Дориан.

Он чуть склоняет голову.

— Вы назвали моё имя трижды. — Это не вопрос. — Кто вам его дал?

— Неважно.

— Важно. — Он не повышает голоса. — Имя — это нить. Тот, кто держит нить, тот тянет. Мне нужно знать, кто её держит.

— Значит, вы не всех знаете, — говорю я.

Он смотрит на меня ещё секунду, и что-то в его лице меняется: не злость, а что-то более внимательное, как если бы перед строчкой появилась сноска.

— Где мой сын? — спрашиваю я, пока он не начал говорить другое.

— Меня по имени зовут немногие, — говорит он и берётся двумя пальцами за трубку капельницы, как за любопытную вещь. Отпускает, и трубка качается. — И почти всегда это те, кто хочет получить, или те, кто хочет убить. Вы лежите после операции, у вас шов и капельница. Значит, получить.

— Я не опасна.

— Я этого и не говорил. — Он смотрит на меня без насмешки. — Опасны те, кто хочет убить. Остальные просто чего-то хотят.

— Где мой сын? — говорю я. — Я не про имя.

Он останавливается у кроватки и смотрит на неё. Долго. Потом проводит ладонью по простыне, там, где лежал ребёнок, и под его рукой простыня разглаживается, как отглаженная. Он поднимает ладонь и смотрит на неё.

— Тепло, — говорит он. — Ещё недавно было тепло.

— Расскажите, — говорит он.

И я рассказываю.

Про ночь, про троих, про белое с золотом и острые уши, про мужчину со свёртком на руках. Про то, как я говорила «не надо», а мне велели спать.

Он слушает и не перебивает.

— В котором часу? — спрашивает он, когда я заканчиваю.

— Я родила в половине двенадцатого. Они пришли после.

— Ночь на первое мая. — Он отворачивается к окну. — Да.

— Это ваши люди.

— Это мои, — говорит он спокойно. — В эту ночь за стеной ходят только мои, а вы, кроме того, назвали белое с золотом. У неблагих золота нет: они его не выносят.

— Так верните его.

Он оборачивается.

— Я не отдавал такого приказа.

— Мне всё равно, кто отдавал. Он у вас.

— Он у нас, — поправляет он. — Это не одно и то же.

И от этой поправки мне становится так холодно, что я перестаю чувствовать шов.

— Мне всё равно, — говорю я ещё раз.

— А мне нет. — Он подходит ближе. — Если мои берут смертного ребёнка и действуют моим именем, значит, в моём дворце кто-то решил, что может говорить за меня. Это не про вашего сына, Карина Александровна. Это про мой Двор.

— Мой сын не «не про него».

— Нет. — Он соглашается так легко, что я не сразу понимаю, что он согласился. — Он как раз про него.

Он берёт с простыни лист, разворачивает, читает. Рост, вес, время. Потом складывает и кладёт обратно, точно так же, как было.

— У него нет имени, — говорит он.

— Что?

— В бумагах нет имени. — Он смотрит на меня. — Вы его не назвали.

— Я не успела.

— Не успели. — Он произносит это медленно, как пробует на зуб. — Это многое объясняет.

— Что объясняет?

— Почему взяли именно его. — Он отходит от кроватки. — Безымянного можно взять, и никто не взыщет: он ещё ничей, он не привязан. Если бы вы назвали его до того, как всё открылось…

Он не договаривает, и я не хочу дослушивать.

— Верните мне его, — говорю я. — Не объясняйте, а верните.

— Я не могу вернуть то, чего не держу в руках. — Он говорит это без раздражения. — Я могу найти.

— Найдите.

Он смотрит на меня долго, и в его жёлтых глазах ничего не читается.

— Вы понимаете, о чём просите?

— Я требую.

— Тем лучше. — Он чуть наклоняет голову. — С теми, кто просит, я торгуюсь. С теми, кто требует, работаю.

Он поворачивается к двери и говорит туда, в пустую палату:

— Форму.

Я думаю про бумаги: рост, вес, время. Потом понимаю: не бумаги.

И в палате становится тесно.

Не от шагов: шагов я не слышу. Просто у двери уже стоят две женщины, в белом, с золотом, иодна из них держит в руках что-то сложенное, тонкое, белое.

— Встаньте, — говорит Дориан.

— Я после операции.

— Я знаю. — Он подходит к кровати и смотрит на мою руку, которой я держу живот. — Уберите руку.

— Что?

— Уберите руку, Карина Александровна.

Я не двигаюсь. Тогда он берёт мою руку за запястье и отводит в сторону. Пальцы у него прохладные.

— Не надо, — говорю я.

— Будет горячо один раз. Потом нет.

Он кладёт ладонь мне на живот, поверх повязки, и под его ладонью становится горячо. Не больно, а именно горячо, как если приложить к коже кружку через полотенце. Свет идёт из-под его пальцев, белый и густой, и в палате ещё светлее.

Я держусь за край кровати и смотрю в потолок. Пахнет чем-то сухим и чистым, как в стоге сена на солнце.

— Дышите, — говорит он через минуту и убирает руку.

Я дышу. Живот не болит. Я трогаю его под рубашкой: шов на месте, но он тонкий и сухой, как старая царапина, и не тянет.

— Оденьте её, — говорит он, и это уже не мне.

И отворачивается. Отходит к окну, становится к палате спиной и больше не двигается, и его длинные уши видны из-под светлых волос, неподвижные, как у зверя, который делает вид, что не слушает.

Меня одевают быстро и молча. Бельё сухое и хлопковое, нездешнее, и одна из женщин присаживается и разбирается с послеродовой повязкой, а я смотрю в потолок, чтобы не смотреть на её руки.

Платье надевают через голову: белое, шёлковое, до пола, нигде не давит на живот, сбоку открыто от бедра. Шёлк холоднее воздуха, и я чувствую его плечами раньше, чем животом. Туфли без каблука оказываются как раз.

— Там тепло, — говорит одна из женщин, отвечая на во-

прос, которого я не задавала.

Я стою перед зеркалом: шёлк ложится поверх тонкой розовой полоски на животе. Его в зеркале нет. Он стоит у окна, не двигается и не оборачивается.

— Куда мы идём? — спрашиваю я.

— Ко мне, — говорит он. — Во дворец. Пока я не пойму, кто из моих это сделал, вы будете там, где я смогу видеть вас обоих.

— Обоих?

— Ребёнка я тоже найду. — Он поднимает руку и ведёт ею по воздуху, как ведут ладонью по стеклу. — И, Карина Александровна. Я вам ничего не запрещаю. Вспомните это, когда вам начнут рассказывать, что здесь можно, а что нельзя.

В палате напротив двери проступает белая точка. За ней вторая, третья, они расползаются, слипаются и вытягиваются в овал, и от него светло, как днём, а теней в палате не остаётся вовсе. Только свет, овал, две его женщины у двери и мы с ним.

Он протягивает руку.

— Держитесь за меня и дышите носом. Вдох на раз, выдох на два. Рот не открывайте: там тесно, и воздух идёт не сразу.

— Тесно?

— Как в воде, — говорит он. — Три шага.

Я кладу ладонь в его ладонь. Пальцы прохладные и сухие, сжимаются крепко, но не больно.

Я делаю вдох на раз и шагаю в белое.

# Тёмная

Белое меня проглатывает, и его рука успевает лечь мне на талию — единственное твёрдое, что остаётся.

Сначала нет ничего: ни верха, ни низа, ни пола под ногами. Я не иду, а вишу, и воздух вокруг густой и тёплый, плотнее воды. Он входит в меня через нос и не идёт дальше, стоит в горле и не пускает.

Я задерживаю дыхание. Само получается: я сжимаюсь вся и не дышу. Пальцы впиваются в его ладонь, и разжать их я не могу.

Зажмуриваюсь тоже сама, и так крепко, что в глазах красно.

— Дышите, — говорит Дориан.

Голос у самого уха, близко, и я чувствую, как от него шевелятся волосы на виске.

— Не могу, — говорю я и не слышу себя: звук не идёт, вязнет в горле.

— Можете. — Его рука на моей талии сжимается крепче, а вторая держит мою ладонь. — Вдох на раз. Я считаю. Раз.

Я вдыхаю. Тянет в боку, но воздух всё-таки проходит.

— Два. Выдох. Медленнее.

Я выдыхаю. Плотное вокруг расступается на полшага, и дышать становится чуть легче.

— Раз, — говорит он. — Два. Ещё три раза, и мы выйдем.

Я считаю вместе с ним. Раз, два. Раз, два. Его ладонь на талии горячая, и я держусь за неё, как за перила на лестнице, где нет ступеней.

На третий раз под ногами появляется пол.

Он твёрдый, гладкий и тёплый даже сквозь туфли. Ноги у меня дрожат, и я держусь за его руку, пока не понимаю, что стою сама.

— Пришли, — говорит Дориан. — Открывайте глаза.

Я открываю — и сразу жмурюсь снова, потому что здесь очень светло.

— Не спешите, — говорит он. — Глаза привыкнут.

Я открываю медленно, по чуть-чуть.

И вижу Двор.

Мы стоим в огромном зале, и свод у него такой высокий, что верх теряется в светлом мареве, и кажется, что над головой небо, которого нет. По обе стороны — окна, высокие и узкие, и за ними белый свет, без единой тени.

Пол под ногами белый, с прожилками золота, и в нём видно моё отражение: тёмная девочка в белом платье, растрёпанная, с припухшими алыми губами.

Колонны стоят по кругу, высокие, в два или три моих роста, и между ними высятся арки, а в каждой арке висит что-то цветное, лёгкое, и оно шевелится, хотя ветра нет.

Я поворачиваюсь на месте, чтобы увидеть всё сразу, и не вижу конца: зал идёт дальше, в глубину, и там ещё колонны, ещё арки, лестница вверх, лестница вниз, и где-то дале-

ко поют.

Поют не словами. Звук без подъёма и спада, и от него в груди пусто.

— Дышите, — говорит Дориан у меня над ухом.

Я понимаю, что опять не дышу, и вдыхаю.

В зале есть люди. Нет, не люди. Я вижу их краем глаза и сначала не могу поймать ни одного лицом: они стоят по сторонам, у колонн, в проходах, и все они смотрят на меня.

Высокие. В белом и золоте. Светлые — у кого волосы как лён, у кого как солома, у кого седые, и ни одного тёмного.

И вот тут я понимаю, как выгляжу рядом с ними.

Они все поворачиваются ко мне, и их лица ничего не выражают: ни удивления, ни отвращения, ничего. Просто гладкие лица, одинаковые улыбки, и глаза, которые смотрят и запоминают.

Одна из женщин у колонны наклоняется к другой и говорит тихо. Но здесь слышно всё.

— Тёмная, — говорит она. И произносит это так, как говорят «грязная». — Ты видела волосы?

— Смертная, — отвечает вторая. — Пахнет.

— Чем?

— Молоком и кровью.

Обе смотрят на меня и улыбаются одинаково, как по команде.

— Не обращайте внимания, — говорит Дориан.

— Они на меня смотрят.

— Разумеется. — Он говорит это так, как говорят «разумеется, здесь есть пол», и уголок рта у него дёргается. — Вы первая за очень долгое время, кто вошла сюда не по приглашению.

— Я вошла с вами.

— Это и есть «не по приглашению». — Он наконец отпускает мою талию и делает шаг вперёд. — Идёмте. Я покажу вам ваши комнаты, пока мои не решили, что вы здесь для того, чтобы их развлекать.

Он идёт и, не поворачивая головы, говорит в сторону колонн:

— Записи за первое мая. Все. Мне на стол.

Я не вижу, кому это сказано. Но от колонны отделяется кто-то высокий, в белом с золотом, кланяется коротко и исчезает между арками.

Я делаю шаг и чуть не падаю: ноги не слушаются. Он не оборачивается и не подаёт руку.

— У меня ноги не идут, — говорю я.

— Идут, — отвечает он, не поворачивая головы. — Просто медленно. Здесь никто не торопится, кроме меня.

И я иду за ним по белому полу, мимо колонн и арок, мимо гладких лиц, которые поворачиваются мне вслед.

Я чувствую их взгляды спиной, и между лопаток у меня становится холодно.

Мы идём долго. Переход тянется, поворачивает, и в нём нет ни одной двери, кроме одной, в самом конце.

Дворец я вижу урывками, потому что иду следом и смотрю в спину.

Залы сменяются залами. В одном по кругу стоят высокие вазы с цветами, и цветы не вянут. В другом висит гобелен: охота, всадники, собаки, олень, и я успеваю заметить, что у оленя человеческие глаза. Третий пустой, и в нём только эхо, и мои шаги возвращаются ко мне из-под свода.

Везде одно и то же: белое, золото, свет. Ни угла, где можно спрятаться. Ни тёмной комнаты, где можно просто посидеть.

Фейри то и дело идут навстречу, все светлые, и все кланяются Дориану и провожают меня глазами. Один, молодой, с волосами до плеч, оборачивается и смотрит мне вслед так долго, что я успеваю дойти до поворота.

— Здесь много комнат? — спрашиваю я.

— Много.

— И все такие?

— Все, — говорит он. — Это дворец. Здесь нельзя быть некрасивым. — Он не сбавляет шага. — Я проверял.

Я не понимаю, шутит он или нет.

Наконец коридор кончается. Он открывает ту единственную дверь и отступает, пропуская меня вперёд.

Я вхожу и останавливаюсь.

Комната большая, светлая, вся белая с золотом: кровать под балдахином, шкаф, стол у окна, кресло и второе, поменьше, у стены. В окне — сад под стеклянным куполом, и в нём лето: цветут деревья, все сразу, густо, хотя за стенами только

первое мая и в Новосибирске ещё не распустилось ни одного листа. Я подхожу и кладу ладонь на стекло. Оно тёплое.

— Здесь вы будете жить, — говорит Дориан. — Пока я не найду вашего сына.

Я оборачиваюсь.

— А потом?

Он не отвечает. Проходит в комнату, садится в кресло у окна и кладёт руки на подлокотники.

— Сядьте, — говорит он.

— Я постою.

— Как хотите. — Он смотрит на меня снизу вверх. — Расскажите мне про отца.

— Про кого?

— Про отца ребёнка.

— Не ваше дело.

— Моё. — Он говорит это без нажима. — Если ребёнка забрали, я должен знать, кому это выгодно. У людей отцам это часто выгодно.

Я стою и молчу. В окне цветут деревья, и поют где-то, и всё это так спокойно, что мне хочется что-нибудь сломать.

— Он отказался, — говорю я наконец. — Ещё до роддома. Сказал, что ему это не нужно.

— Что именно не нужно?

— Ребёнок. Я. Всё.

— Это он сказал, — говорит Дориан. — А сделал что?

Я не понимаю.

— Слова — это слова, — поясняет он. — Люди говорят много. Мне нужно знать, что он сделал: ушёл, не пришёл, забрал вещи?

— Всё сразу.

— Как его зовут?

— Зачем вам?

— Затем, что отец ребёнка может передумать. — Он смотрит спокойно. — И прийти за ним. Или прийти с кем-то, кто умеет открывать двери.

— Он не передумает.

— Тогда назовите имя, и мы оба будем спать спокойно.

— Дмитрий, — говорю я. И от этого слова во рту становится кисло.

Дориан кивает так, что видно: запомнил. И встаёт.

Он подходит ко мне — близко, ближе, чем нужно, — и я отступаю на шаг и упираюсь спиной в стену.

— Что вы делаете?

— Смотрю. — Он берёт в пальцы прядь у моего виска и поворачивает её на свет, как поворачивают ткань, чтобы увидеть, как она блестит. — У нас таких нет.

— Каких?

— Тёмных. — Он смотрит на волосы, потом на моё лицо, и взгляд задерживается там дольше, чем нужно. — Во всём моём Дворе нет ни одного тёмного. Я забыл, как это выглядит.

Он улыбается — коротко, одним углом рта, — и от этой

улыбки мне не по себе, потому что она не вежливая совсем.

— Отпустите.

Он отпускает. Но не сразу.

— Простите, — говорит он, и это первое слово, которое он произносит не как Повелитель.

— Ничего, — говорю я и отхожу от стены. — Что теперь?

— Теперь я буду искать. — Он идёт к двери. — А вы будете ждать здесь и не выходить. У нас с вами договор, Карина Александровна: я обязан искать, вы обязаны ждать.

— Я не подписывала никакого договора.

— Вы назвали моё имя, — говорит он. — Этого достаточно.

Он доходит до двери и берётся за ручку. И останавливается.

— Ещё одно, Карина Александровна.

— Что?

— Вы всё время говорите мне «вы». — Он оборачивается. — Меня это утомляет. Здесь все говорят мне «вы», даже те, кто меня ненавидит. Давайте на «ты».

— А если я не хочу?

— Тогда уходите. — Он показывает на дверь. — Дверь открыта.

Я смотрю на дверь, потом на него.

— Ладно, — говорю я. — Только это ничего не значит.

— Разумеется. — Он склоняет голову.

Он открывает дверь.

— Я иду с тобой.

Он оборачивается.

— Куда?

— Искать. — Я говорю это и сама слышу, как это звучит: белая комната, белое платье, чужие туфли. — Это мой ребёнок. Если ты идёшь спрашивать своих, я иду с тобой.

— Это не прогулка.

— Я знаю.

— Там на тебя будут смотреть, — говорит он. — И говорить о тебе будут так, как говорят о вещах.

— Уже говорят.

Он молчит. Потом отпускает ручку.

— Хорошо, — говорит он. — Тогда не отставай.

И выходит.

Я иду за ним.

* * *

Коридоры здесь длинные и все одинаковые: белый пол, белые стены, окна, за которыми ровный свет. Через каждый поворот я жду, что мы придём куда-нибудь, и каждый раз начинается новый коридор, такой же.

— Ты заблудишься, если пойдёшь одна, — говорит он, не оборачиваясь. — Здесь можно идти час и вернуться к той же двери.

— Как вы... — Я поправляюсь. — Как ты находишь дорогу?

— Я её помню. — Он поворачивает направо. — Дворец

слушается того, кто его помнит.

Мимо проходит фейри в белом, высокий, с длинными светлыми волосами. Он кланяется Дориану коротко и на меня не смотрит вовсе, будто я часть стены.

— А если я запомню? — спрашиваю я.

— Тогда и тебя послушается. — Он сворачивает на лестницу. — Это не так сложно, как кажется. Трудно только в первый раз.

Мы спускаемся. Ступени белые, и на каждой вырезан узор, и узоры эти повторяются, и я ловлю себя на том, что считаю их.

— Куда мы идём?

— В зал записей. — Он идёт быстро, но не так, чтобы я отставала. — У нас всё записывают. Кто вошёл, кто вышел, кто что взял, кто кому что должен. Двор на этом стоит: если запись есть, значит, так и было.

— И про мою ночь есть запись?

— В том и дело, — говорит он и останавливается. — Я послал за ними, как только мы вошли. Записи нет. И я хочу, чтобы ты увидела это сама.

— Как нет?

— Так. — Он поворачивается ко мне. — На первое мая в моём Дворе не записано ни одного выхода за стену. Ни одного. За тысячи лет такого не было.

Я останавливаюсь.

— За сколько?

— За тысячи. — Он пожимает плечом. — Я не считаю.

Я смотрю на него и вдруг смеюсь. Смех выходит короткий, некрасивый, и я зажимаю рот рукой, но поздно.

Он останавливается и оборачивается.

— Что? — спрашивает он.

— Ты живёшь вечно. — Я всё ещё смеюсь и понимаю, что это, наверное, опасно, и не могу остановиться. — И каждое первое мая у вас кто-то выходит за стену, и вы это записываете. Тысячи лет. Тебе не надоело?

— Надоело, — говорит он. — Лет через триста.

— И что?

— И я нашёл себе дела. — Он улыбается, и на этот раз улыбка доходит до глаз. — Триста рыцарей. Двор. Война с соседями. Смертные, которые приходят и уходят. Скука — это когда тебе нечего терять, Карина. У меня есть что.

Я перестаю смеяться.

— Значит, записи врут.

— Записи не врут. — Он говорит это спокойно, и от этого спокойствия у меня холодеет спина. — Записи можно стереть. И тот, кто это сделал, знал, что делает: он стёр не только выход, но и вход.

— И что это значит?

— Что я ищу не вора, — говорит Дориан. — А того, кто умеет переписывать мой Двор.

Он больше ничего не говорит. Мы идём до конца лестницы молча, и я слышу только свои шаги — его не слышно со-

всем.

Лестница кончается, и он открывает ещё одну дверь.

Я иду за ним и путаюсь в подоле. Платье длинное, а я к длинному не привыкла: нога цепляется за ткань, пол уходит из-под меня, и я лечу вперёд.

Он ловит меня за локоть. Одной рукой, на ходу, почти не оборачиваясь, и ставит на ноги, как если бы я просто споткнулась о порог.

— Осторожнее.

Я стою к нему вплотную, и от этого его рука на моём локте важнее всего остального.

И в этот раз он не отводит глаз.

Он смотрит мне в лицо — долго, прямо, — и его взгляд идёт от глаз к губам и остаётся там. Зрачок у него сужается, как игла. Я вижу его так близко, что различу тонкую сетку золотых жилок в жёлтой радужке.

Его пальцы на моём локте сжимаются, и по руке от них идёт не холод, а тепло, острое, как ожог от крапивы. Оно доходит до плеча и идёт дальше.

Я не дышу.

— Пусти, — говорю я.

Он отпускает. Не сразу: ещё секунду держит, прикидывая. Потом убирает руку, и на локте остаётся светлое пятно — не ожог, а след, как от солнца через стекло.

— Я не привыкла к длинному, — говорю я, чтобы что-то сказать.

— Вижу. — Он идёт дальше, и плечо у него дёргается: смеётся. — Подол подними.

Я поднимаю подол и иду за ним.

Зал записей оказывается за дверью.

Я жду чего-то тёмного, как в библиотеке, со свечами и пылью. Но здесь светло так же, как везде: белые стеллажи от пола до свода, и в них книги, одна к одной, все в белом с золотом. Свет идёт от потолка без теней, и в этом свете видно каждую пылинку, которой нет.

Посреди зала стоит стол, длинный, как бильярдный, и за столом — фейри. Худой, с длинным лицом и волосами, зачёсанными так гладко, что они блестят.

Он встаёт, когда мы входим, и кланяется.

— Повелитель.

— Первое мая, — говорит Дориан. — Выходы.

Фейри не спрашивает, зачем. Он идёт к дальнему стеллажу, достаёт книгу — она большая, тяжёлая, в золотом окладе, — и кладёт её на стол. Открывает, переворачивает страницы, и от этого в зале пахнет чем-то сухим, как от старой бумаги.

— Здесь, — говорит он.

Дориан подходит и смотрит.

Я подхожу тоже.

Страница белая. На ней расчерчены строки, и в каждой строке стоит дата, и напротив даты — слово и время. Почерк как напечатанный. Тридцатое апреля: пусто. Первое мая: пу-

сто.

— Ничего, — говорит Дориан.

— Ничего, — повторяет фейри.

— Кто-то выходил.

— Я знаю.

— Тогда объясните мне, — говорит Дориан, и голос у него такой, что фейри отступает на полшага, — почему этого нет.

— Потому что запись ставится сама, — говорит фейри. — Не мной. Она появляется, когда что-то случается: кто вошёл, кто вышел, кто что взял. Я не могу её не поставить, как не могу не дышать.

— А стереть? — спрашивает Дориан.

— Стереть можно рукой, — говорит фейри. — Только книга должна позволить. — Он запинается. — Этого не бывает, Повелитель. За всё время, что я здесь, этого не было ни разу.

— Теперь было, — говорит Дориан.

Я смотрю на страницу и трогаю её пальцем.

Бумага гладкая. И под первым мая, там, где должно быть слово, есть вдавленность: не чернила, а след. Кто-то писал сильно, продавил лист, а потом чернила сняли.

— Здесь писали, — говорю я.

Оба смотрят на меня.

— Что?

— Смотрите. — Я наклоняюсь ближе и веду пальцем по вдавленности. — Тут буквы. Их не видно, но они есть. Как

в тетради, если вырвать лист.

Дориан отодвигает меня плечом — не грубо, но так, чтобы я отошла, — и наклоняется над книгой сам. Долго смотрит.

Потом выпрямляется.

— Писали, — говорит он. — И стёрли так, что чернила ушли, а след остался.

— Кто может? — спрашиваю я.

— Никто. — Он поднимает голову и смотрит на фейри. — Только тот, кто держит книгу.

Фейри бледнеет. Я не думала, что они умеют бледнеть: у него лицо сереет, как бумага, и он прижимает руки к груди.

— Повелитель, я...

— Я знаю, что вы не умеете, — говорит Дориан. — Я знаю вас пятьсот лет, и все пятьсот вы боитесь меня одинаково.

Он закрывает книгу. Звук выходит глухой и очень громкий в этой тишине.

— Значит, — говорит он, — в моём Дворе есть кто-то, кто умеет то, чего не умеете вы. И этот кто-то хочет, чтобы я думал, будто ничего не было.

Он берёт книгу под мышку и идёт к выходу. У двери оборачивается.

— Карина.

Я не слышу. Я стою над опустевшим столом и смотрю на то место, где лежала книга, и в голове крутится одно и то же: кто-то стёр запись. Этот кто-то ходил здесь, дышал этим воздухом, стоял у этого стола.

— Карина.

Я вздрагиваю всем телом, как от удара, и только потом оборачиваюсь.

— Что?

— Идём.

И я иду за ним.

— А ты? — спрашиваю я, когда мы выходим. — Ты можешь стереть?

Он не отвечает сразу.

— Могу, — говорит он. — Поэтому начну с себя.

Он доводит меня до двери молча.

— Спи, — говорит он. — Утром я приду за тобой.

— А если не найдёшь?

— Найду.

— А если это кто-то из твоих, и он...

— Карина. — Он смотрит на меня. — Спи.

И уходит. Я смотрю ему в спину, пока он не сворачивает за поворот, и вспоминаю, что он так и не ответил, что будет, если это кто-то из его.

В комнате всё так же, как я её оставила: кровать, шкаф, два кресла, стол у окна. И тишина, в которой слышно, как цветёт сад.

Я подхожу к шкафу и открываю его.

Пусто. Полки вытерты до блеска, и пахнет кедром.

Я закрываю шкаф.

Значит, платье мне принесут. Опять белое.

Я подхожу к двери и берусь за ручку. Она не заперта. Я стою так, с ручкой в ладони, и слушаю: за дверью тихо, и только далеко, за поворотами, кто-то ходит. Я отпускаю ручку и возвращаюсь к кровати.

Кровать большая, и подушки взбиты, и одеяло отогнуто с одного края — с той стороны, с которой ложатся. Я сажусь на край и смотрю на сад.

Там лето. Деревья стоят в цвету, и лепестки падают в воду канала, и вода их уносит, и я думаю: у них тут даже лепестки убирают вовремя.

Потом стягиваю платье через голову, комкаю и бросаю на пол у кровати. Оно лежит на белом полу белым пятном, и я смотрю на него и не поднимаю.

Я ложусь и натягиваю на себя одеяло до подбородка, и мне впервые за сутки не холодно.

Свет здесь не гаснет. Я лежу и смотрю в потолок: белый, с золотыми полосами, и полосы не двигаются, потому что двигаться нечему — ни лампы, ни свечи, ничего.

Матрас подо мной тёплый и не остывает, будто его только что грели.

В саду за стеклом роса, и от неё лепестки блестят, и это единственное, что здесь меняется.

Шаги за дверью не прекращаются. Они не приближаются и не удаляются, а идут и идут, как будто кто-то меряет один и тот же путь.

Поют всё то же. Без слов, по кругу.

У сна нет ни начала, ни конца, и от этого не заснуть ещё труднее.

Я поворачиваюсь на бок и подтягиваю колени к груди. Так я спала в общаге, когда было холодно, и так, наверное, спят все, кому некуда идти.

Платье на полу белеет, и я всё смотрю на него, пока оно не расплывается.

Слёз нет. Я жду их и не дождусь: глаза сухие, в горле сухо, и я лежу и думаю, что со мной что-то не так.

Я пытаюсь вспомнить, как он выглядел, и не могу. Я его не видела. У меня остался свёрток на руках у мужчины и край пелёнки, и это всё, что у меня от него есть.

Я закрываю глаза и считаю вдохи. Раз, два.

Так, как он учил.

Раз. Два. Раз. Два.

Я не замечаю, когда перестаю считать.

Свет всё горит.

# Свидетель

Я просыпаюсь от стука в дверь.

Три раза, коротко и ровно, и я ещё не успеваю сказать «входи», как дверь уже открывается.

Входит Дориан.

Он в белой рубашке с расстёгнутым на две пуговицы воротом и в белых брюках, и рукава закатаны до локтя. Волосы распущены и спадают на плечи, и в них, в этом свете, идёт золотистый отлив, как в старой бронзе.

И я вижу то, чего вчера не было видно: на левом предплечье у него шрам. Длинный, тонкий, белый, от локтя почти до запястья, и он старый — такой шрам не зарастает, такой остаётся навсегда.

Он замечает, что я смотрю, и опускает рукав.

— Откуда это? — спрашиваю я.

Он замирает.

— Что?

— Шрам. Откуда он у тебя?

Он смотрит на меня так, что видно: вопрос он услышал впервые.

— Ты первая, кто спросила, — говорит он.

И я удивляюсь — своему вопросу и его ответу. У фейри, которые живут вечно и не болеют, есть шрамы, и никто у них об этом не спрашивает.

— Ладно, — говорит он и застёгивает рукав.

— Ты не спала.

— Спала.

— У тебя глаза, как у тех, кто не спал.

— У меня глаза, как у тех, кто сутки назад родил. — Я сажусь на кровати и подтягиваю к коленям одеяло. — Что тебе нужно?

— Сейчас придут служанки, — говорит он. — Помогут тебе собраться.

— Куда собраться?

— Мы идём смотреть моих. — Он отходит к двери. — Тех, кто стоял в ту ночь. Ты должна их увидеть.

Я открываю рот, чтобы сказать, что это пустая трата времени, и не успеваю: дверь открывается, и входят две женщины в белом. Они кланяются Дориану, и старшая сразу оглядывает меня с ног до головы, отмечая, где подшить.

— Я зайду позже, — говорит Дориан и выходит.

Старшая из женщин кланяется.

— Вставайте, — говорит она. — Пойдём в купальню.

— Я не хочу.

— Надо.

— А если я всё равно не хочу?

— Тогда понесём.

Она говорит это без нажима, но так, что спорить бессмысленно.

Я встаю.

Купальня оказывается за дверью в стене, которой я вчера не заметила: круглый бассейн, вода тёплая, пар, и на стенах всё то же белое с золотом. В воздухе пар и запахи: белые цветы, мёд и что-то ещё, тёплое, от чего глаза закрываются сами. Здесь пахнет так, как не пахнет нигде: по полу разлили лето.

Они моют меня молча. Чужие руки там, где я сама не могу как следует, и я стою, смотрю в стену и держусь за бортик.

И здесь, в тёплой воде, среди мёда и цветов, меня накрывает.

Не сразу. Сначала просто трудно дышать: воздух густеет. Потом я вспоминаю, что вчера в это же время я ещё не знала, какого он роста и какого цвета у него глаза. Что я его так и не подержала. Что я видела его только на руках у чужого.

Я смотрю на свой живот. Он пустой и плоский, и там, где был шов, только тонкая розовая полоска.

И это хуже всего. Тело уже зажило. Тело уже согласилось, что ничего и не было.

— Вам плохо? — спрашивает одна.

— У меня ребёнка забрали, — говорю я.

Они молчат.

И та, что помоложе, кладёт руку мне на плечо. Просто кладёт, ничего не говорит и не убирает.

Я стою под её рукой, и слёзы идут сами. Не рыдания, не всхлипы: просто катятся, тёплые, падают в воду, и по ней расходятся круги, и вода их уносит.

Никто не говорит «успокойтесь». Никто не говорит «всё будет хорошо».

Они стоят вокруг и ждут, пока я выплачу своё.

Потому что не будет.

Меня вытирают тёплым полотенцем, заворачивают в белое и так, в полотне, выводят обратно в комнату.

В комнате служанки помогают мне одеться. Платье белое, шёлковое, с золотой нитью по краю, длинное и открытое на одном плече и на боку, и они поднимают его вдвоём и опускают мне на плечи, и одна придерживает, пока вторая застёгивает. Потом мне надевают туфли, белые, мягкие, без каблука, и они оказываются ровно по ноге.

Мельком я вижу себя в зеркале — тёмные волосы, белое платье — и не сразу понимаю, что это я.

Потом меня усаживают на стул и берутся за волосы. Старшая расчёсывает и начинает заплетать: раз-два, раз-два, коса идёт туго, кожа на висках натягивается.

И тут открывается дверь.

Дориан останавливается в двух шагах и смотрит на косу.

— Оставьте, — говорит он.

Служанка замирает с прядью в пальцах.

— Повелитель?

— Распустите. — Он поднимает голову и смотрит на меня, а не на неё. — Так лучше.

Она расплетает, и волосы падают обратно, тяжёлые, ниже лопаток, и ложатся на золотую нить на плече.

Он входит наконец в комнату и подходит ко мне.

Берёт прядь у меня из-за плеча, пропускает её между пальцами и говорит, глядя не на меня, а на волосы:

— Мне нравится, когда в моём Дворе есть что-то необычное.

Я выдёргиваю прядь у него из рук.

— Я не вещь.

Он усмехается одним углом рта и отступает с дороги.

Я иду к двери. Он идёт следом.

И у самой двери у меня урчит в животе.

Тихо, но здесь слышно всё.

— Когда ты ела в последний раз? — спрашивает он.

— Не помню.

— Сутки?

— Больше.

— Здесь тебе есть нельзя, — говорит он. — Съеденное связывает: один кусок, и ты перестанешь слышать музыку, как слышат люди. Потеряешь счёт времени и через год не вспомнишь, как тебя звали. Воду можно.

Он поворачивается к женщинам, которые всё ещё стоят у стены.

— Человеческой еды, — говорит он. — В город, живо. И чтобы к её возвращению было на столе.

— Слушаемся, Повелитель, — говорит старшая и уходит, и вторая уходит за ней.

— А как? — спрашиваю я. — Как они туда войдут? У вас

уши, глаза, платье. Весь Двор такой.

— Они не войдут, — говорит он. — Войдут другие.

— Какие другие?

— Те, что у меня в городе. Люди. — Он говорит это так, как объясняют, что вода мокрая. — Они покупают, я плачу. Они не знают, кому служат, и это их устраивает.

— А деньги?

— У меня старое золото. Такое берут везде и не спрашивают, откуда.

— А если спросят?

— Тогда они не пойдут второй раз. — Он открывает передо мной дверь. — Поэтому я посылаю тех, кому не надо объяснять.

Я выхожу. Он выходит за мной, и дверь закрывается сама, тихо, без стука. В коридоре пусто, и наши шаги идут вразнобой: мои чаще, его реже.

— Поешь, когда вернёмся.

— Если я не сбегу.

— Если не сбежишь, — соглашается он.

— Я не смогу тебе помочь, — говорю я. — Я ничего не запомнила.

— Ты их видела.

— Я видела белое, — говорю я. — Золото. Уши. И мужчину с моим ребёнком в руках. Лиц я не помню, они плыли, у меня в глазах всё плыло, я под наркозом была, я даже не сразу поняла, что это не врачи.

Он смотрит на меня долго, и глаза у него сужаются, как у кошки, которая прикидывает расстояние.

— Ты понимаешь, что ты сейчас сказала?

— Нет.

— Что у меня нет ни одной приметы, кроме цвета одежды, которую носит весь мой Двор.

Я молчу.

— Я правлю дольше, чем твой народ помнит себя, — говорит он, и голос у него ровный и очень тихий, и от этой ровности мне хочется отступить. — Всё это время я жду свидетеля. И свидетель не помнит лиц.

— Я не виновата, что меня накачали.

— Я не сказал, что ты виновата.

— Сказал.

Он поднимает бровь.

— Я сказал, что ты бесполезна. Это не одно и то же.

Я открываю рот, чтобы ответить, и не нахожу ответа. Пальцы у меня сжимаются на подоле, и я разжимаю их сама, по одному.

— Идём, — говорит он.

— Я не понимаю, — говорю я. — Ты Повелитель. Они тебя слушаются. Почему ты не прикажешь, чтобы нашли?

— Прикажу.

— И?

— И они будут искать так, как ищут те, кому велели, а не те, кому нужно. Поэтому искать буду я. И ты. Остальные

будут делать вид.

Он ведёт меня вниз по лестнице, потом по коридору, потом ещё раз вниз, и я уже не пытаюсь запомнить дорогу: здесь её невозможно запомнить, потому что все повороты одинаковые.

Мы приходим в зал, где нет ни столов, ни ваз, ничего. Просто зал, и в нём стоят фейри.

Много. Я не считаю, но их не меньше тридцати. Все в белом с золотом, все светлые, все выстроены ровно, как на линейке, и все смотрят на нас, когда мы входим.

— Это те, кто стоял в ту ночь, — говорит Дориан. — У границы и во Дворе. Смотри.

Он отходит к стене и складывает руки на груди, и мне ясно, что смотреть придётся одной.

Я смотрю.

И ничего не узнаю.

Они все одинаковые. Я понимаю, что это глупо, что у них разные лица, рост и волосы, но сейчас, в белом, в золоте, при этом свете, они сливаются в одно длинное белое пятно, и я не могу выхватить ни одного.

Я иду вдоль строя и цепляюсь за каждое лицо, как за поручень: тонкие губы, родинка над бровью — родинка, у фейри, вот же, запомни. Потом следующее, и от него не остаётся ничего.

В горле у меня становится сухо.

— Ну? — говорит Дориан.

— Я не знаю.

— Смотри внимательнее.

Я иду вдоль строя ещё раз и в этот раз стараюсь смотреть в лицо каждому.

У первого широкие скулы и глаза светлее волос. У второго родинка на шее. У четвёртого рассечена губа, и я на секунду думаю: вот, примета. А потом понимаю, что таких шрамов, наверное, половина Двора, и что я всё равно не знаю, он ли стоял тогда в палате. У пятого ничего: ровное красивое лицо, и оно не запоминается, как не запоминается узор на обоях.

— Долго? — спрашивает Дориан.

— Не мешай.

Он не мешает.

Иду медленнее, вглядываюсь, и сердце у меня стучит где-то в горле.

— Я смотрю, — останавливаюсь. — Я их не помню. Мне было плохо, у меня всё плыло, я видела белое и уши, и всё.

Кто-то в строю — я не вижу кто — тихо вздыхает. Так, как вздыхают, когда ждали большего.

И вот этот вздох меня добивает.

— Посмотри и подумай, — говорит Дориан.

— Я не помню! — Я поворачиваюсь к нему. — Не узнаю никого. Ни одного лица, ни одной приметы. Это пустая трата времени!

Я иду к двери.

Он перехватывает меня за локоть, а другой рукой — за

шею, и сжимает, крепко, до боли.

Я вскрикиваю.

— Не смей так со мной разговаривать, — говорит он сквозь зубы.

Пальцы прохладные и лежат точно, и под ними дёргается мой пульс, и воздух обрывается сразу, весь.

Он молчит. Смотрит мне в лицо, и в его жёлтых глазах нет ни злости, ни удовольствия, только внимание.

И я боюсь. Не того, что он меня убьёт. Я боюсь того, что он может, и что это ему ничего не стоит, и что все они стоят и молчат.

Мои ладони упираются ему в грудь, и я толкаю.

Он отпускает сразу.

Колени подгибаются, но я удерживаюсь на ногах; меня сгибает кашель, и я держусь за горло обеими руками, и в зале по-прежнему тихо.

— Да пошёл ты, — говорю я хрипло и иду к двери.

— Карина.

Я не оборачиваюсь. Открываю дверь и хлопаю ею так, что звенит в ушах.

Коридор. Поворот. Ещё поворот, и я слышу за спиной шаги.

Он догоняет и хватает меня за плечо, разворачивая к себе.

— Что тебе надо от меня? — кричу я ему в лицо, на весь коридор.

И чувствую, как рука на моём плече становится горячей

— не тёплой, а горячей, как утюг, — и отшатываюсь.

Его глаза вспыхивают ярче. Жёлтого в них столько, что больно смотреть.

Я отхожу на пару шагов и упираюсь спиной в колонну.

Он подходит и ставит руку на колонну у моего лица сбоку.

— Поумерь свой пыл, — говорит он. — Ты не будешь так со мной разговаривать.

Я молчу.

Он опускает голову и качает ею, медленно, и видно, что он спорит с собой и проигрывает.

Дышит тяжело. Я слышу, как воздух выходит у него из груди, и вижу, как поднимается и опускается плечо, и как он сжимает и разжимает кулак.

Потом поднимает глаза, и жёлтого в них уже меньше. Он смотрит на меня.

— Я не хотел тебя пугать, — говорит он тише. — Я хочу помочь. А чтобы помочь, надо разобраться.

Рука со стены уходит, и я слышу, как у меня стучит в ушах. Он делает шаг назад.

Разворачивается — и уже через плечо:

— Идём. Я провожу тебя до комнаты.

И я иду за ним, потому что мне уже всё равно, где быть, и потому что он всё-таки ищет моего сына.

Он открывает дверь комнаты и отступает, пропуская меня первой.

Я вхожу.

Он заходит следом и прикрывает дверь — не закрывает, а прикрывает, оставляя щель на случай.

И только теперь я вижу поднос.

Он стоит на столе у окна.

Хлеб. Молоко в стеклянной бутылке с крышкой из фольги. Что-то горячее в закрытой кастрюльке, и от неё идёт пар. И ещё — я вижу краем глаза — шоколадка, обычная, в обёртке, какие продают в магазине у дома.

— Это откуда? — спрашиваю я.

— Из твоего мира, — говорит он. — Как и договаривались.

— А шоколадка?

— Я не знаю, что это. — Он берёт шоколадку со стола, поворачивает её в пальцах и читает обёртку, как написанную на языке, которого он не знает. Потом кладёт обратно. — Мне сказали, что смертные такое едят.

Я беру шоколадку.

Обёртка холодная и чуть влажная, и на ней написано по-русски.

Я отодвигаю стул — он скребёт по полу, и звук в этой комнате выходит слишком громким, — и сажусь.

Хлеб чёрствый, молоко тёплое: значит, пока мы были в зале, всё это успели принести. Кастрюлька ещё держит жар, от неё пахнет курицей.

Дориан садится в кресло у окна, откидывается и кладёт ногу на ногу. Потом, не вставая, дотягивается до бутылки,

поворачивает её этикеткой к свету и читает.

— А ты ешь? — спрашиваю я, не поворачиваясь.

— Мы можем есть, — говорит он. — Но не обязаны.

— Совсем?

— Совсем. Иногда едим для удовольствия. За столом, на праздниках.

— И что?

— То же, что и ты, — говорит он. — Мясо, хлеб, вино.

— И всё?

— Всё. Только у нас на это есть время. — Он говорит спокойно. — Блюдо могут готовить три дня, и никто не торопится его съесть.

— Зачем тогда?

— Затем, что за столом смотрят друг на друга. — Еда у нас не от голода. Его у нас нет. Она от того, чтобы сесть рядом и увидеть, кто где сел.

Я откусываю ещё.

— А музыка? Я её всё время слышу.

— Внизу танцуют.

— Внизу?

— На первом этаже есть зал. Там танцуют всегда: день и ночь, круглый год.

Я оборачиваюсь.

— Можно посмотреть?

— Можно. — Он смотрит на меня. — Но танцевать нельзя.

— Почему?

— Потому что танец здесь не про шаги. — Он говорит так, как говорят о вещах простых и потому страшных. — Кто танцует, отдаёт. Немного, самую малость себя. И обратно эта малость не возвращается.

— А потом?

— А потом ею тебя и держат. — Он смотрит на меня. — Сначала незаметно. А после ты замечаешь, что не помнишь, зачем пришла.

— Я не буду танцевать, — говорю я.

— Дай слово.

— Даю. Я и ходить-то еле умею, куда мне танцевать.

Он кивает.

Я доедаю всё: хлеб, молоко до дна, кастрюльку до последней ложки. Шоколадку оставляю половину и заворачиваю в обёртку, чтобы было на утро.

Он встаёт и сам забирает поднос.

— Я скоро вернусь, — говорит он. — Никуда не выходи без меня.

— А если выйду?

— Тогда я буду искать тебя по всему дворцу. — Он говорит без угрозы. — И найду. Но мне это не понравится.

Я киваю.

Он выходит и притворяет дверь.

Я иду к кровати, снимаю туфли и ложусь поверх одеяла, прямо в платье, и натягиваю одеяло до подбородка, и смотрю

в потолок, где ровный свет и золотые полосы.

Полосы не двигаются.

Кто мог его забрать?

Если бы хотели убить, не уносили бы. Убили бы на месте, в палате, и списали на что угодно: на наркоз, на кровопотерю, на ошибку врача. Никто бы и не искал.

Если бы хотели вернуть, уже вернули бы. Прошло больше суток, и мне не прислали ни записки, ни условия, ни угрозы.

Значит, он кому-то нужен живым. И не как товар: за товар давно бы назвали цену.

Значит, он нужен кому-то здесь.

И этот кто-то ходит по этим коридорам, ест за этими столами, кланяется мне в залах, и я, может быть, уже смотрела ему в лицо и не узнала.

Я переворачиваюсь на бок и подтягиваю колени.

В голове у меня всё время одно и то же: свёрток. Маленький, тяжёлый, тёплый. Я даже не знаю, какие у него глаза.

Я закрываю глаза и считаю вдохи. Раз, два.

Раз, два.

Засыпаю, и во сне я всё ещё ищу.

Просыпаюсь от того, что в комнате кто-то есть.

Дверь приоткрыта. Я не пугаюсь: думаю, это Дориан вернулся, как обещал.

Поворачиваю голову.

Это не Дориан.

Он стоит у стены, в двух шагах от кровати. Высокий, как

Дориан, и широкий в плечах, в белом, как все здесь, платиновые волосы до плеч, и смотрит на меня так, как смотрят на чужую вещь.

Я сажусь.

— Кто вы?

Он смеётся — тихо, коротко, без всякого веселья.

— Смертные здесь не задерживаются, — говорит он. — Ты знала?

— Что?

— Ты можешь умереть во сне. — Он говорит это спокойно, как о погоде. — Просто перестать дышать. Мы такое видели.

Я не опускаю головы.

— Это угроза?

Он не перестаёт улыбаться. Он обходит кровать — медленно, заложив руки за спину, как обходят вещь в лавке, — и останавливается у изголовья.

— Это порядок, — говорит он. — Такие, как ты, приходят сами. Приходят и попадают в гарем Повелителя.

Он протягивает руку, чтобы коснуться моего лица.

— Не трогайте меня.

И в этот момент открывается дверь.

Дориан входит и останавливается. Смотрит сначала на меня, потом на него, и я вижу, как меняется лицо у Дориана.

— Эйдан, — говорит он.

— Дориан, — говорит гость.

— Что ты тут делаешь?

— Смотрю, — говорит Эйдан. — Оцениваю. Он кладёт ладонь на спинку кровати и наклоняется, как торговец над товаром.

Дориан подходит, и в его руке загорается свет: не огонь, а что-то белое, ровное, и от него в комнате тихо, так тихо, что слышно, как у меня стучит в ушах.

Эйдан не отходит. Он смотрит на свет, как смотрят на карманные часы: с вежливым интересом.

— Ты не станешь, — говорит он. — Ты знаешь, что не станешь. Ты пятьсот лет никого не сжёг, кроме тех, кто сам напрашивался.

Дориан молчит.

— Я хотел посмотреть, как она спит, — говорит Эйдан. Он говорит это Дориану, но смотрит на меня и улыбается мне. — Разве это запрещено? В твоём дворце всё разрешено, ты сам так говоришь.

Дориан поворачивает голову ко мне.

— Он тебя трогал?

— Нет, — говорю я. — Не успел.

— Иди, — говорит Дориан. — И больше к ней не подходи.

Эйдан идёт к двери не спеша, и у порога оборачивается.

— Она не игрушка, — говорит он. — Это я и сам вижу. Но и не твоя. — И мне, уже без улыбки: — Спи, смертная. Тебе ещё искать.

Он выходит и закрывает за собой дверь тихо, без стука.

Свет в руке Дориана гаснет, и комната снова обычная.

Дориан садится в кресло, откидывается и смотрит в окно. Потом проводит ладонью по подлокотнику и смахивает с него что-то, чего нет.

— Что он говорил?

— Что смертные здесь не задерживаются. Что я могу умереть во сне. — Я подтягиваю одеяло к груди. — Что такие, как я, попадают в гарем Повелителя.

— Что ещё?

— Что он оценивал.

Он поворачивает голову.

— Сегодня я буду рядом, — говорит он. — В этом кресле.

— А завтра?

— И завтра.

Я откидываюсь на подушки.

— Я хочу найти сына и уйти, — говорю я. — Обратно, к себе. Я не хочу здесь оставаться.

— Я знаю. — Он смотрит на меня. — Поэтому и ищу.

— Ты осталась жива потому, что у меня хороший слух, — добавляет он. — В следующий раз не жди меня. Кричи. Громче, чем в зале.

— Кого ты подозреваешь? — спрашиваю я.

Он не отвечает.

— У тебя же есть кто-то, — говорю я. — Я по лицу видела.

— Есть. — Он встаёт и подходит к окну, и я вижу, как он опирается ладонью о подоконник. — Ты знаешь, что у нас

два Двора?

— Знаю.

— И что между ними война.

— Что-то такое слышала.

— Не напоминание. Не ссора. — Он говорит как о вещах, давно решённых. — Война, которая не кончается, потому что кончиться не может. Семь лет назад я пришёл к воротам Неблагого Двора с войском. У меня было право, и был повод, и были свои, которые шли за мной.

— И?

— И я ушёл от его ворот живым, но не тем, кем пришёл. — Он поворачивает голову. — На моих глазах умерла смертная, которую он держал при себе. Потом она ожила и стала такой, как он. А я ушёл, и мои это видели.

— Повелитель, который ушёл ни с чем, перестаёт быть Повелителем, — говорит он. — Поэтому мне нужно вернуть то, что у меня отняли.

— То есть меня?

— Тебя. Твоего сына. Всё, что было у меня и чего не стало.

— Значит, ты не помочь мне хочешь, — говорю я. — Ты хочешь вернуть лицо.

— Я хочу и того, и другого, — говорит он. — И одно другому не мешает.

— А что за гарем? — спрашиваю я.

Он поворачивается медленно, и в его лице что-то меняется: не злость, а интерес, как у человека, который услышал

знакомую мелодию в чужом доме.

— Что?

— Гарем. — Я выбираюсь из одеяла и опускаю ноги на пол. — Этот, как его там... Эйдан. Он сказал, что такие, как я, приходят сами и попадают в твой гарем.

Он смотрит на меня и молчит, и я вижу, как у него на шее дёргается жилка.

— А тебе показать? — говорит он.

Я иду к нему босиком, и он выше меня на голову, и мне приходится запрокинуть подбородок, чтобы смотреть ему в лицо.

— Ну попробуй, — говорю я.

Он смотрит на меня сверху вниз, и от этого взгляда у меня по спине идёт холод, но я не отступаю.

— Смелая. — Он говорит тихо, почти на ухо. — Это интереснее всего, что я видел за последние сто лет.

— И не надейся, — говорю я. — Я тут только ради сына.

Он смотрит на меня ещё секунду, потом отступает и идёт к креслу.

Он садится, откидывается и смотрит на меня.

— Человеческие девушки, — говорит он. — Они пришли сами. Каждая могла уйти в любой день, и каждая осталась.

— Почему?

— Потому что там теплее, чем у вас. — Он говорит без всякого выражения. — Потому что еды вдоволь, никто не бьёт и никто не считает годы. Потому что за воротами их

никто не ждал.

— А фейри?

— И фейри. Их там больше. — Он смотрит в окно. — И меня это давно не интересует.

— Совсем?

— Совсем. — Он поворачивает голову. — Было время, спал и с теми, кто не мог уйти. Теперь нет.

Я молчу и смотрю на свои руки поверх одеяла. Ногти обломаны, на ладони след от капельницы, синеватый.

— Утром смотрим записи, — говорит он.

— Мы уже смотрели.

— Мы смотрели одну строку. — Он откидывает голову на спинку кресла. — Одну запись про одну ночь. Утром будем смотреть всё: кто входил и выходил за неделю до и после, кто что брал, кто кому что должен. Стерли не только строку. Стерли того, кто её поставил.

— А как ты понимаешь, что утро? — спрашиваю я. — У вас всегда светло. Часов, я смотрю, за пятьсот лет так и не завели.

— По свету. — Он смотрит на окно. — Утром он холодный, к вечеру уходит в медный, а к ночи ровный.

— И всё?

— И по голосам. Утром внизу поют тише, как просыпаются, а к ночи громче. — Он поворачивает голову. — Ты бы тоже услышала, если бы жила здесь дольше месяца.

Я киваю.

— Ложись, — говорит он и поворачивает голову к окну.

— Ты можешь отвернуться? Мне надо раздеться.

Он усмехается.

— Раздевайся.

— Не при тебе. — Я стою на холодном полу. — Если решил остаться, будь вежлив. Отвернись.

Он встаёт и поворачивается к окну.

Платье расстёгивается на боку, и я вылезаю из него и кладу на стул, а под ним у меня бельё, тонкое, чужое, из тех, что мне дали утром. В нём я забираюсь под одеяло, и одеяло сначала холодное, а через минуту тёплое.

— Всё.

Он идёт к кровати медленно, шаг за шагом, и на губах у него улыбка, от которой хочется натянуть одеяло выше.

Ложится с другой стороны, поверх одеяла, закидывает руки за голову, и под его весом кровать проседает так, что меня тянет в его сторону.

— Нет, — говорю я. — Иди в кресло.

— Я не трону тебя. Спи.

Я отворачиваюсь к окну и натягиваю одеяло до уха.

Он смеётся в потолок.

— Заткнись, — говорю я.

Смех обрывается.

— Не говори со мной так, — говорит он ровно. — А то я перестану быть добрым.

Я молчу.

И такое чувство, что рядом легло что-то большое и уходить не собирается.

# Всё за неделю

Просыпаюсь от того, что в комнате ходят.

Открываю глаза. Свет за окном белый, в нём видно, как поднимается пыль. Я лежу на боку, лицом к окну, и одеяло натянуто до уха, и во рту сухо, как в пустой бутылке.

Дориан стоит у окна.

Он в той же рубашке, в которой лёг, но волосы уже собраны на затылке ремешком, и в этом свете видно, что у него на шее, под волосами, тонкая полоска кожи светлее остальной.

Он был здесь всю ночь. Я не помню, как он встал, но помню, как ложился: кровать просела, и запах, и то, как я отворачивалась.

На столе у окна стоит поднос. Новый. Значит, кто-то заходил, а я не слышала.

— Ешь, — говорит он, не оборачиваясь. Он стоит так близко к стеклу, что дышит на него, и на стекле расходится и гаснет пятно.

Я сажусь. Одеяло падает, и я вспоминаю, что под ним у меня одно бельё, и натягиваю одеяло обратно до подбородка.

Он так и не ушёл. Стоит у окна, и на рубашке ни складки, и за ночь она не смялась.

— Как ты понял, что уже утро?

— Внизу поют по-другому.

Я слушаю. Где-то далеко, за стенами, за коридорами, идёт

пение — тише, чем ночью, и медленнее, как если кто-то тянет ноту и не хочет её отпускать.

— Ты поэтому не спал? — спрашиваю я. — Слушал?

— Поэтому тоже.

Он берёт с кресла что-то светлое и бросает мне на кровать.

Платье. Голубое, тонкое, с длинным рукавом, и пахнет так, будто его только что гладили.

— Одевайся и садись есть, — говорит он.

— Отвернись.

Он усмехается — снова, как вчера, одним углом рта, — но отворачивается, и на этот раз лицом к двери.

Я вылезаю из-под одеяла и надеваю платье. Оно оказывается как раз по мне, и застёжка на боку застёгивается с первого раза.

— Готово.

Он возвращается к столу.

Поднос не похож на вчерашний. Вчера был хлеб, молоко и кастрюлька. Сегодня — две тарелки, закрытые крышками, стакан воды и опять молоко, в той же бутылке.

— А это откуда? — спрашиваю я.

— Из твоего мира. — Он снимает крышку с одной тарелки. — Каждый день кто-то будет ходить в город и приносить. Пока ты здесь.

— И ты не боишься, что я отравлюсь?

— Боюсь. — Он говорит это спокойно. — Поэтому еду носят двое, и один из них пробует сам.

Я сажусь и беру вилку. Под крышкой — каша, густая, с маслом, и от неё идёт пар, и запах такой обыкновенный, что у меня сжимается горло.

Я ем. Он стоит у стола и смотрит на меня.

— Ты будешь стоять и смотреть, как я ем?

— Нет.

Он садится в кресло, откидывается и закрывает глаза. Не спит — просто сидит, и лицо у него в этом свете проще, чем обычно: с него сняли маску.

— Ты не спал совсем, — говорю я.

— Я мало сплю.

— Совсем не спал.

— Я спал три часа. — Он не открывает глаз. — Для нас это много.

Я доедаю кашу, берусь за вторую тарелку. В ней что-то с мясом, тёмное, с подливой, и вилка его не берёт, и я ем ложкой.

— Я не знаю, что это, — говорю я.

— И я не знаю. — Он открывает глаза. — Мне сказали, что смертные это едят. Если не станешь, скажу, чтобы принесли другое.

— Стану.

Он кивает и снова закрывает глаза.

И я вдруг понимаю, что за всё время, что я здесь, это первый раз, когда он при мне просто сидит и ничего не делает. Никакой ровности, никакого «Карина» таким голосом, от

которого хочется отступить. Просто усталый фейри в кресле, у которого собраны волосы и который не спал ночь, потому что в его дворце кто-то ходит по чужим комнатам.

— Дориан.

— Да.

— Тот, ночью. Ты его знал?

Он открывает глаза.

— Знал.

— И просто отпустил?

— Отпустил. — Он садится ровнее. — Он вошёл в комнату, где спит моя гостья, и ушёл на своих ногах. Такого я не видел пятьсот лет.

Я отставляю тарелку.

— И что это значит?

— Что он не прячется. — Он смотрит в окно. — Те, кто прячется, бегут. А он пришёл показаться.

— И его ты ищешь в книге записей? В той, где стёрли мою ночь?

— В ней. — Он встаёт. — Только смотреть буду не одну строку, а всё, что было за неделю до и после. Кто входил, кто выходил, кто что брал.

Он берёт со стола молоко, откручивает фольгу, нюхает и ставит передо мной.

— Пей и идём.

Пить не хочется. Молоко холодное, и от него во рту остаётся металлический привкус, но он стоит и ждёт, пока я до-

пью, и я допиваю.

Он открывает дверь и пропускает меня вперёд.

Коридор, лестница, ещё коридор, где нет ни окон, ни ковров, только белый камень и свет, идущий из стен. В этом свете наши тени идут рядом и не касаются.

Вторые сутки я здесь, и до сих пор не научилась понимать этот Двор. Здесь всё одинаковое: повороты, двери, лица. Один раз я попробовала считать повороты и сбилась на восьмом.

Но зал я узнаю, ещё не дойдя: перед дверью стоит фейри в белом, и, увидев Дориана, отступает к стене и кланяется так низко, что волосы падают ему на лицо.

— Книги за неделю, — говорит Дориан, не останавливаясь. — Все. И журнал выдачи.

Зал длинный, и в нём пахнет бумагой, воском и чем-то сухим, как в старой библиотеке. Вдоль стен полки до потолка, на полках книги в белых переплётах, ровные, как кирпичи.

Писарь раскладывает перед нами четыре книги, придвигает два стула и отступает. Дориан садится, и я сажусь с краю.

Дориан открывает первую, находит нужный день и ведёт по строкам пальцем.

— Вот моя ночь, — говорит он.

Я смотрю. Строки идут ряд за рядом, буква за буквой, и вдруг обрываются, и дальше белое поле, и потом снова буквы.

— Три часа, — говорит он. — Ни входа, ни выхода. Никто

не входил, никто не выходил.

— И это моя ночь.

— Это твоя ночь.

Он придвигает вторую книгу, потом третью. Листает, находит, откладывает. И в каждой свой провал: три часа, четыре, два, и в каждом провале ни имени, ни двери, ни шага.

— Это не одна ночь, — говорю я.

Он поднимает голову.

— Что?

— Ты сказал, стёрли одну строку. — Я показываю на книги. — А тут стёрто везде. Не одна ночь, а много.

Он молчит, и я вижу, как у него на скуле двигается желвак.

— Да, — говорит он. — Уже не одна.

— Значит, похищение — не всё. — Я откидываюсь на спинку стула. — Тут кто-то живёт и ходит через эти книги, как через свою дверь.

— Живёт здесь, — повторяет он. — Или приходит.

Дверь открывается, и писарь вносит ещё две книги и тонкую тетрадь в тёмном переплёте.

— Журнал выдачи, Повелитель.

Дориан берёт его и открывает. Сначала читает быстро, потом медленнее, потом возвращается на строку назад и перечитывает.

— Кто брал книги за ту неделю? — спрашивает он.

— Я, Повелитель. И ещё трое.

— Имена.

Писарь называет. Первое имя мне ничего не говорит, второе тоже. На третьем Дориан перебивает:

— Довольно.

— Но, Повелитель, я только называю, кто записан.

— Я сказал довольно.

Тишина. Писарь стоит с открытым ртом, и в этой тишине слышно, как он сглатывает.

— Выйди, — говорит Дориан.

Он выходит.

Я смотрю на Дориана и вижу то, чего не видела ни в зале, ни в коридоре, ни ночью: он не злится. Он испугался.

— Третье имя, — говорю я. — Кто это?

Он закрывает тетрадь и кладёт на неё ладонь.

— Тот, кого я знаю дольше, чем стоит этот Двор.

— Это имя или загадка?

— Это Эйдан. — Он произносит имя так, что оно кажется тяжелее всех книг в зале. — Тот, что стоял у твоей кровати ночью.

Он молчит секунду.

— Он пришёл, когда здесь ещё не было стен. Он ставил первые записи. Он учил меня их читать.

— Тот, ночью, — говорю я. — Который про гарем.

— Он.

— И ты его подозреваешь.

— Я его проверю.

Он выходит так быстро, что я догоняю его только на лест-

нице.

Мы идём вверх, потом по галерее, где за стеклом стоит сад, зелёный, слишком зелёный для мая, и в нём кто-то ходит с ножницами, и слышно, как щёлкает железо. Дориан идёт быстрее обычного, и я почти бегу.

— Если он тебе что-нибудь скажет, — говорит он, не оборачиваясь, — не отвечай.

— Почему?

— Потому что он старый и умеет говорить так, что ответ выходит сам.

Эйдан сидит в комнате, где нет ничего, кроме стола, двух стульев и окна. Здесь его видно целиком: молодое лицо, платиновые волосы до плеч, светло-серые глаза, и по нему не скажешь, что он старше всех, кто здесь есть. Разве что по тому, как он не спешит встать, когда входят. Перед ним раскрыта книга, и он держит палец на строке, как держат место, из которого не хочется выходить. Только воздух вокруг него другой, как в комнате, где на градус теплее.

Он встаёт и кланяется.

— Повелитель.

— Садись.

Он садится. Дориан остаётся на ногах, и Эйдан, уже севший, смотрит на него снизу вверх, и это ему нисколько не мешает.

— Ты брал книги на той неделе.

— Брал.

— Зачем?

— Сверял долги. — Эйдан закрывает книгу и кладёт на неё ладонь. — Двор живёт на долгах, Повелитель. Кто-то должен их сверять.

— И что ты нашёл?

— Что смертная, которая пришла, нигде не записана должницей. — Он поворачивает голову ко мне и прищуривается, будто я сижу дальше, чем есть. — Ни в одной книге. Ни одной строки.

Дориан молчит.

— Это неправильно, — говорит Эйдан.

— Это моё дело.

— Это дело Двора. — Он говорит всё так же спокойно. — Она пришла за ребёнком. А ребёнка в книге тоже нет. Имени нет — значит, и искать его будет некому.

В комнате тихо.

— Ты знал, что ребёнка украдут, — говорит Дориан.

— Я знал, что его можно взять. — Он улыбается, коротко и без всякого тепла. — Это не одно и то же.

— И никому не сказал.

— Я говорю тебе сейчас. — Эйдан снова смотрит на меня. — Ты не сможешь взыскать, потому что тебе нечем. Ты не записана. Если твоего сына нет в книге, значит, для Двора его и не было. Тебя тоже нет.

Я не сразу понимаю. Потом понимаю.

— То есть меня здесь как бы нет.

— По книгам нет.

— И поэтому меня можно не искать.

— И поэтому тебя можно не искать.

Эйдан не отводит от меня глаз и не перестаёт улыбаться, и мне кажется, что он смотрит не на меня, а в меня.

Дориан делает шаг и встаёт между нами.

— Довольно. — Голос у него тихий. — Ты сказал ей больше, чем нужно.

Эйдан смеётся. Не коротко и не зло, а в голос, откинув голову, будто ему рассказали хорошую шутку.

— Ей нужно было услышать. — Он встаёт не сразу: сначала кладёт ладонь на стол, потом поднимается. — Ты бы не сказал.

Он выходит, и дверь за ним закрывается сама, без стука.

Я стою, и у меня звенит в ушах.

— По книгам меня нет, — говорю я.

— Я найду его и без книг.

— Как?

— По-другому.

Он смотрит на меня секунду, потом разворачивается и идёт к двери.

И почему-то мне хочется сказать что-то нормальное, человеческое, и оно выходит само, раньше, чем я успеваю подумать:

— Спасибо. За то, что ищешь.

Он замирает.

Я вижу, как меняется его лицо: не злость, не радость, а что-то среднее, как у того, кто поймал на лету монету.

— Что ты сказала?

— Ничего.

— Ты сказала «спасибо». — Он говорит очень тихо. — Мне.

— И что?

— Ты знаешь, что это значит?

— Забыла, — говорю я. И это правда.

— Это значит, что ты моя должница. — Он смотрит на меня сверху, и в глазах у него нет ни торжества, ни насмешки. — Одно слово. Теперь ты мне должна.

Я молчу.

— Я не потребую, — говорит он. — Сегодня.

Он выходит первым, и я иду за ним.

Коридор пустой и гулкий. Дориан идёт быстро, и я не догоняю, а иду в двух шагах за его спиной.

— Ты злишься, — говорю я.

— Нет.

— Ты идёшь так, что видно: злишься.

Он останавливается.

— Я не на тебя. — Он проводит ладонью по лицу, сверху вниз, и на секунду становится старше.

Мы стоим в коридоре, и мимо нас проходит служанка с бельём, и кланяется, и идёт дальше, и её шаги затихают.

— Что теперь будет? — спрашиваю я.

— Ничего. — Он поворачивается ко мне. — Слово сказано, и оно услышано. Теперь я могу потребовать долг в любой день. Ты — нет.

— И что ты потребуешь?

— Не решил.

— А если я скажу ещё раз?

— Тогда будет два. — Он говорит без улыбки. — Потом три. Так это и работает, Карина. По одному слову.

Я молчу.

— Мне не нравится, что ты сказала это мне, — говорит он вдруг. — Не потому, что я тебе что-то дал. А потому, что я встал между вами.

— И что?

— За это не благодарят. Это моя работа.

Он идёт дальше, и я иду за ним, и в этот раз мы идём в шаг.

— А Эйдан? — спрашиваю я.

— Что Эйдан?

— Он будет ходить по этому Двору, как ходил.

— Будет.

— И ты ничего не сделаешь?

— Сделаю. — Он не оборачивается. — Но не так, как тебе хочется. И не сегодня.

Мы доходим до моей двери, и он останавливается и берётся за ручку.

— И ещё. — Он смотрит на меня. — Если Эйдан с тобой

заговорит, не отвечай и уходи. И скажи мне.

— Думаешь, он…

— Я ничего не думаю. — Он открывает дверь. — Я прошу.

Это слово не похоже на всё, что он говорил до сих пор, и я не сразу понимаю, что в нём не так.

Он просит. Не велит, не приказывает — просит.

— Хорошо, — говорю я.

Он кивает и уходит, и я остаюсь в комнате наедине со сказанным словом, которое теперь стоит дороже всего, что у меня есть.

* * *

К вечеру я не выдерживаю.

В комнате нельзя сидеть. Здесь всё белое — стены, свет, тишина, — и в этой тишине у меня в голове крутится одно и то же: «по книгам тебя нет».

Дверь не заперта. Я выхожу одна и иду, куда иду, и никто меня не останавливает.

Я иду по коридору, потом по галерее, где окна в сад.

Эйдан стоит у окна.

Он не оборачивается, и я думаю, что можно уйти, пока он не заметил. Он стоит, заложив руки за спину, и покачивается с носка на пятку, как человек, которому надоело ждать.

— По книгам тебя нет, — говорит он, — а ходишь ты громко.

Я не отвечаю. Я обещала.

— Я не собираюсь тебя пугать. — Он поворачивается и отходит от окна на шаг, и в этом свете видно, какие у него светло-серые глаза, почти как стены. — Я хотел посмотреть на тебя в свете.

Он смотрит долго, и от этого взгляда у меня холодеет затылок.

— Ты была в моей комнате и ни разу не опустила глаз. — В голосе у него нет насмешки, только интерес, как у человека, который нашёл на дороге что-то незнакомое. — Это редкость. Все опускают. Я старый, и все думают, что мне надо что-то объяснить.

Я иду мимо.

— Тебя нет в книгах, — говорит он мне в спину. — Значит, тебя можно не только взять.

Я останавливаюсь, хотя не должна.

— Тебя можно записать. — Он говорит спокойно, как о погоде. — Одна строка, и ты есть. С именем, с долгом, со всем.

Я молчу.

— Подумай, — говорит он. — Это предложение.

Он идёт дальше по галерее, и я стою и смотрю ему в спину, пока он не сворачивает за угол.

Потом возвращаюсь к себе.

На столе остывает ужин. Я сажусь на кровать и смотрю на него и не могу вспомнить, что мне принесли.

Сказать Дориану?

Я обещала. Я сказала «хорошо», и это тоже слово, и оно в этом дворце тоже что-то значит.

Но если я скажу, он пойдёт к Эйдану. И Эйдан поймёт, кто сказал.

Я ложусь и натягиваю одеяло до подбородка.

Утром, решаю я. Утром скажу, и он сделает то, что делает.

Дверь открывается поздно, когда свет за стеклом ушёл в медный. Он входит тихо, но я слышу, и не поворачиваюсь, и дышу ровно, как спящая.

Он стоит у кровати. Потом идёт к креслу и садится, и я слышу, как скрипит кресло.

Я не сплю.

Всю ночь я лежу и слушаю, как в саду шумит листва, и как где-то далеко, внизу, поют, и как к пению прибавляется ещё один голос, а потом ещё один.

Заснуть не получается: как только закрываю глаза, я вижу галерею и его спину и слышу «тебя можно записать».

* * *

Ночь проходит, и свет на потолке снова белый. Я так и не сомкнула глаз и всё ещё лежу, глядя в потолок, когда стучат в дверь.

Стучат три раза.

Дориан поднимается с кресла и идёт открывать. За дверью фейри в белом с папкой под мышкой.

— Список готов, — говорит он и подаёт папку.

— Собирай их в зале, — говорит Дориан. — Всех, кто

был во дворце в ту ночь. — И закрывает дверь у него перед носом.

Он поворачивается ко мне.

— Кого? — спрашиваю я, приподнимаясь на локтях.

— Тех, кто ходил по этому дворцу в ту ночь.

Я сажусь и подтягиваю одеяло.

— Он подходил ко мне вчера.

Дориан замирает и поднимает на меня глаза.

— Кто?

— Эйдан.

Он подходит к кровати и встаёт так, что мне приходится смотреть на него снизу.

— Где?

— В галерее, у окон. — Я говорю тихо. — Он сказал, что по книгам меня нет. И что меня можно записать.

— Что ещё?

— Что это предложение.

Дориан молчит, и лицо у него такое, что я отодвигаюсь к спинке кровати.

— Почему ты не сказала вчера? — говорит он наконец.

— Не знала, как.

— Знала. — Он смотрит на меня. — Ты испугалась, что я пойду к нему.

Я молчу.

— Испугалась, — говорит он за меня.

— Да.

Он подходит к окну и стоит спиной, и я вижу, как у него сжимается и разжимается кулак.

— Хорошо, что сказала, — говорит он. — Плохо, что не вчера.

— Что теперь?

— Теперь он под наблюдением. — Дориан поворачивается. — Двое будут ходить за ним, куда бы он ни пошёл, и он это увидит. И ещё двое будут ходить за тобой.

— Мне не нужны двое.

— Мне тоже не нужны, — говорит он, и угол рта у него дёргается. — А он старый.

Он бросает папку на стол.

— Ешь и собирайся. Сегодня я покажу тебе тех, кто был в списке.

— И Эйдана?

— И его, — говорит он. — Он будет стоять там же, где все.

Собираюсь я быстро. За ночь на стул положили ещё два платья, белое и серое, но я остаюсь в голубом, потому что оно уже моё.

Мы идём вниз, и по дороге к нам присоединяются двое: не рядом, а в двух шагах за спиной, и я слышу их шаги всю дорогу.

В зале, где вчера стояли фейри в белом, сегодня стоят не только они. Вдоль стены — стол, за столом писарь с книгой, и перед столом длинная очередь: кто-то в белом, кто-то в сером, кто-то в бледно-золотом, и все они ждут, пока их запи-

шут.

— Кто это? — спрашиваю я.

— Те, кто был во дворце в ту ночь. — Дориан идёт вдоль очереди. — Каждый назовёт, где он был и кто его видел. Кто не назовёт — останется здесь до утра.

— А их много.

— Больше, чем я думал.

Я иду за ним и смотрю в лица. Их десятки, и они разные: старые и молодые, красивые и не очень, и у каждого, когда он проходит, появляется одинаковое выражение, как у тех, кто внутри быстро считает.

— Их нельзя всех проверить, — говорю я.

— Можно. — Он не поворачивается. — Вопрос в том, сколько это займёт.

Мы доходим до конца очереди, и я ловлю себя на том, что всё время ищу глазами светлые волосы и светло-серые глаза.

И не нахожу.

— Дориан.

— Что.

— Его здесь нет.

Он останавливается и оглядывается, и я вижу, как он считает — быстро, по головам, как считают в строю.

— Его здесь нет, — говорит он.

Писарь за столом поднимает голову.

— Эйдана, Повелитель? — Писарь смотрит в книгу. — Его здесь нет.

— Я знаю, что его нет.

Писарь молчит.

— Видел его?

— Нет, Повелитель. — Он опускает глаза к столу. — Я записываю тех, кто входит. А его в книге нет, значит, и входить было некому.

— А дверь?

— Дверь утром стояла открытой, — говорит писарь. — Я подумал, ветер.

Дориан молчит, и в зале тихо, так тихо, что слышно, как перо писаря скребёт по бумаге.

— Закрыть ворота, — говорит он. — Никого не выпускать.

Голос он не повышает, но писарь вскакивает так, что книга слетает со стола.

Мы идём к его комнате.

Дверь открыта, и внутри пусто так, как бывает только в комнатах, из которых ушли насовсем. Стол, два стула, окно. На столе книга — тонкая, в тёмном переплёте, раскрытая на середине.

Дориан обходит стол, заглядывает под него, отодвигает стул носком сапога. Потом берёт книгу и читает стоя.

— Что там? — спрашиваю я.

Он не отвечает.

— Дориан.

— Здесь есть строка, которой вчера не было. — Он пово-

рачивает книгу ко мне. — Записана сегодня, до рассвета.

Я смотрю. Почерк мелкий, без нажима, и в строке всего два слова.

Карина. Долг.

— Что это значит?

— Это значит, что он тебя записал.

— Куда записал?

— В книгу. — Он закрывает её и держит в руке, и я вижу, как у него побелели костяшки. — Он вписал тебя в Двор. Теперь ты есть.

— Я и была.

— Не для Двора. — Он поднимает на меня глаза. — Для Двора ты теперь должница. Не моя — его.

— Он ведь ушёл.

— Ушёл.

— Тогда почему его долг?

— Потому что строку поставил он. — Дориан смотрит на меня. — Долг держится не за тем, кто рядом. Он может быть за морем, а ты всё равно его.

— И что теперь?

— Теперь он держит тебя не за руку, а за долг. — Он кладёт книгу под мышку. — Пока долг не уплачен, ты его.

— Я не хочу быть его.

— Никто не хочет.

— А если я заплачу?

— Тебе нечем. — Он идёт к двери. — У тебя ничего нет.

У тебя даже имени в книге не было, пока он не написал.

— То есть он дал мне то, чего у меня не было, — говорю я медленно, — и этим сделал должницей.

Дориан останавливается в дверях.

— Да, — говорит он. — Он подарил тебе тебя. И теперь ты его.

Он выходит и запирает дверь ключом, которого я у него раньше не видела, и отдаёт ключ одному из тех двоих, что идут за нами.

— Пока он не найдётся, сюда никто не войдёт.

Мы идём по коридору, и я слышу только свои шаги и его.

«Ты его». Не «должница», не «под записью» — «ты его». И я всю дорогу думаю не о сыне, а о том, как это слово вышло у него изо рта, и мне становится страшно.

Он доводит меня до двери и не уходит.

Садится в кресло у окна, откидывается и закрывает глаза.

Я закрываю дверь, сажусь на кровать не снимая платья и смотрю в окно, где сад стоит зелёный, как если бы в нём ничего не случилось.

— Что теперь? — спрашиваю я.

Он открывает глаза.

— Теперь ищем Эйдана.

— А если не найдём?

— Найдём. — Он смотрит в потолок. — Он ушёл не для того, чтобы спрятаться. Он ушёл, чтобы я искал.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что он оставил книгу открытой. — Дориан закрывает глаза. — Он хотел, чтобы её прочитали.

# Кто знает

Третий день поисков начинается с того, что я просыпаюсь одна.

Кресло у окна пустое, и в нём лежит только подушка, смятая с одного края, и поднос на столе стоит нетронутый: каша, молоко, что-то под крышкой — и всё это уже остыло.

Я одеваюсь и выхо

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.